

Содержание

| | |
|--|-----|
| Швейцария | 9 |
| Зуся на крыше | 31 |
| Я сплю, но сердце мое бодрствует | 49 |
| Конец дней | 71 |
| Увидеть Эршади | 107 |
| Будущие катастрофы | 129 |
| «Атоиц» | 149 |
| В саду | 163 |
| Муж | 181 |
| Быть мужчиной | 223 |
| | |
| Список благодарностей | 253 |
| Об авторе | 255 |

Это художественное произведение. Имена, персонажи, места и события являются плодом воображения автора либо используются как вымышленные, и их не следует трактовать как реальные. Любое сходство с реальными событиями, местами, организациями и лицами, ныне живущими или покойными, является случайным.

Посвящается Саше и Саю

Швейцария

Последний раз я видела Сорайю тридцать лет назад, и с тех пор только однажды пыталась ее отыскать. Наверное, я боялась ее увидеть, боялась попытаться ее понять — я ведь стала старше, у меня могло и получиться. Наверное, это значит, что боялась я самой себя и того, что могла в себе открыть, когда ее пойму. Шли годы, и я все реже вспоминала о ней. Я закончила колледж, потом магистратуру, вышла замуж раньше, чем собиралась, и родила двух дочерей-погодков. Если воспоминание о Сорайе и всплывало у меня в голове как часть непредсказуемой цепочки ассоциаций, то практически сразу опять исчезало.

С Сорайей я познакомилась в тринадцать. Тот год наша семья провела в Швейцарии. Мы вполне могли бы взять семейным девизом слова «Готовься к худшему», если бы отец не сказал нам недвусмысленно, что на самом деле наш девиз «Никому не доверяй, всех подозревай». Дом у нас был впечатляющий, однако мы жили на краю пропасти. Даже в Америке мы оставались европейскими евреями, то есть всегда помнили об ужасах прошлого и о том, что это может повториться. Родители яростно ссорились, брак их вечно был на грани развала. Разорение нам тоже грозило — нас предупредили, что дом скоро придется продать. Денег не было с тех самых пор, как отец после многолетних скандалов с дедом ушел из семейного

бизнеса. Когда он пошел учиться, мне было два, брату четыре. Сначала колледж, подготовительная программа для будущих врачей, потом медицинская школа в Колумбийском университете, потом ординатура по ортопедической хирургии в Специальной хирургической больнице — мы так и не поняли, почему она специальная. За одиннадцать лет учебы отец сотни ночей отдежурил в приемном покое, принимая пострадавших, которые шли к нему кошмарной чередой: автомобильные аварии, аварии с мотоциклами, а однажды крушение самолета авиакомпании «Авианка», следовавшего рейсом до Боготы и врезавшегося в холм на Коув-Нек. Наверное, в глубине души у него жила иррациональная вера в то, что каждодневные стычки с ужасом спасут от этого ужаса его семью. Но в последний год его ординатуры, грозным сентябрьским вечером, мою бабушку сбил на углу Первой авеню и Пятидесятой улицы несшийся на большой скорости фургон, и у нее случилось кровоизлияние в мозг. Когда отец добрался до больницы Бельвю, его мать лежала на каталке в приемном покое. Она взяла его за руку и впала в кому. Через шесть недель она умерла. Меньше чем через год после ее смерти отец закончил ординатуру и перевез семью в Швейцарию, чтобы стажироваться в качестве хирурга-травматолога.

Как ни странно, именно в Швейцарии, стране нейтралитета, порядка и альпийских красот, находится лучший в мире институт травматологии. В те годы Швейцария вообще чем-то напоминала лечебницу, только вместо обитых войлоком стен — снег, который все смягчал и заглушал, и швейцарцы за много веков так к этому привыкли, что инстинктивно сами

себя заглушали. Может, отсюда и внимание к травматологии — страна, для которой превыше всего сдержанность, самоконтроль и соответствие нормам, точность хода часов и поездов и должна лучше других справляться с чрезвычайными ситуациями вроде разбитых и переломанных тел. А еще Швейцария оказалась многоязычной страной, и именно это позволило нам с братом передохнуть от семейного уныния. Институт травматологии находился в Базеле, где говорили на швейцарском немецком, но мама считала, что нам нужно продолжать учить французский. Швейцарский немецкий — это ведь почти то же самое, что немецкий в Германии, а нам полагалось избегать всего немецкого ради бабушки, маминой мамы, всю семью которой в Германии убили нацисты. Поэтому нас записали в Эколь Интернасьональ в Женеве. Брата поселили в школьном общежитии, а меня туда не взяли, потому что мне как раз исполнилось тринадцать. Родители придумали другой способ, как спасти меня от ужасного немецкого, и в сентябре 1987 года сняли комнату на западной окраине Женевы, в доме нештатной преподавательницы английского по имени миссис Элдерфилд. Волосы эта миссис Элдерфилд красила в соломенный цвет, на щеках был румянец, типичный для уроженцев влажного климата, но все равно она была какая-то старая.

Под окном моей спальни росла яблоня. В день, когда я приехала, вокруг нее валялись красные яблоки, гнившие на осеннем солнце. В комнате стояли маленький письменный стол, кресло, в котором можно было посидеть с книжкой, и кровать, в ногах которой лежало свернутое армейское одеяло из серой шерсти. На вид это одеяло было такое старое, что могло

и на войне побывать. Коричневый ковер у порога протерся настолько, что виднелись нити основы.

Кроме меня там жили еще две ученицы Эколь Интернасьональ, обеим было по восемнадцать. Им досталась на двоих дальняя спальня в конце коридора. Все три наши узкие кровати когда-то принадлежали сыновьям миссис Элдерфилд, но они выросли и уехали задолго до того, как на их место прибыли школьницы. Фотографий этих мальчиков в доме не было, и мы не знали, как они выглядели, но почти всегда помнили о том, что они раньше спали в тех же кроватях. Между отсутствующими сыновьями миссис Элдерфилд и нами существовала телесная связь. Муж миссис Элдерфилд никогда не упоминался, если он вообще у нее был. Она была не из тех, кому можно задать личный вопрос. Когда наступало время спать, она молча выключала нам свет.

В первый вечер в этом доме я сидела на полу спальни старших девочек среди стопок их одежды. Дома, в Америке, девочки поливали себя дешевым мужским одеколоном «Дракар», а вот резкий запах духов, пропитавших одежду моих новых соседок, был мне незнаком. Тепло их тела и химические реакции кожи делали этот запах мягче, но он все равно скапливался в их постельном белье, в ношенных рубашках и в сумках, и миссис Элдерфилд распахивала окна, чтобы холодный воздух очистил комнату от этого запаха.

Девочки обсуждали свою жизнь непонятными мне словами, а я слушала. Они смеялись над моей наивностью, но тем не менее были ко мне очень добры. Мари родилась в Бангкоке, а сюда приехала из Бостона, а Сорайя — из шестнадцатого округа Парижа, но до Парижа был Тегеран. Там ее отец занимал пост

главного инженера при шахе, пока не случилась революция. Семья отправилась в изгнание, не успев собрать игрушки Сорайи, но успев вывезти из страны большую часть наличности. Обе девушки были «трудные» — интересовались сексом и возбуждающими веществами, не подчинялись требованиям взрослых, — и поэтому их сослали в Швейцарию на дополнительный год учебы в школе, в тринадцатом классе, хотя до сих пор они и не знали, что такой бывает.

В школу мы обычно выходили затемно. К автобусной остановке нужно было идти через поле, и поле это к ноябрю укрыл снег, который прорезали скошенные бурые стебли. Мы всегда опаздывали. Никто, кроме меня, не завтракал. У кого-нибудь волосы непременно оказывались еще мокрыми и их кончики замерзли. Мы сбивались в плотную кучку под навесом остановки, вдыхая дым от Сорайиной сигареты. На автобусе мы проезжали мимо армянской церкви и добирались до остановки оранжевого трамвая, а уж на нем долго-долго ехали до школы на другом конце города. У нас у всех были разные расписания, так что возвращались мы поодиночке. Только в первый день по настоянию миссис Элдерфилд я дождалась Мари и ехала с ней, но мы сели на трамвай не в ту сторону и уехали во Францию. Потом я запомнила маршрут; обычно, сойдя с трамвая, я не сразу шла на автобус, а сначала заходила в табачную лавочку возле остановки и покупала конфеты из открытых контейнеров (если верить моей матери, они просто кишели микробами).

Я никогда еще не была так счастлива и так свободна. Вырвалась я не только из сложной и тревожной обстановки в семье, но и из ужасной школы в Америке,

где меня неумолимо мучили злобные взрослеющие одноклассницы. До водительских прав я еще не доросла, так что сбегать могла либо в книги, либо на прогулку в лес у нас за домом. А теперь я после школы часами бродила по Женеве — обычно без какой-либо цели, хотя я часто доходила до озера и наблюдала, как приходят и уходят туристические суда, или сочиняла истории обо всех, кого видела, особенно о парочках, которые приходили пообжиматься на скамейке. Иногда я мерила одежду в H&M или бродила по Старому городу. Там меня тянуло к внушительному памятнику Реформации, к непроницаемым лицам громадных каменных протестантов, из которых по имени я помню только Жана Кальвина. Про Борхеса я на тот момент еще не слышала, но ни в какой другой момент своей жизни я не была так близка к этому аргентинскому писателю, который умер в Женеве за год до моего приезда, и в письме, объяснявшем, почему он хочет быть похороненным именно тут, в любимом городе, написал, что в Женеве он всегда чувствовал себя «загадочно счастливым». Много лет спустя один друг подарил мне «Атлас» Борхеса, и я с изумлением увидела огромную фотографию этих мрачных гигантов, к которым когда-то регулярно ходила, сплошь антисемитов, которые верили в предопределение и абсолютное верховенство Бога. Жан Кальвин на этой фотографии слегка наклоняется вперед, чтобы посмотреть на слепого Борхеса, а тот сидит на каменном уступе с тростью в руках, слегка запрокинув голову. Фотография словно бы говорит нам, что Жан Кальвин и Борхес были весьма созвучны друг другу. Я с Кальвином совсем не была созвучна, но я тоже сидела на том же уступе и смотрела на него снизу вверх.

Иногда на таких прогулках какой-нибудь мужчина долго смотрел на меня в упор или приставал ко мне на французском. Эти короткие столкновения меня смущали, мне становилось стыдно. Часто это были африканцы, сиявшие белозубыми улыбками, но однажды, когда я разглядывала витрину магазина шоколада, ко мне подошел со спины европеец в прекрасно пошитом костюме. Он наклонился так, что коснулся лицом моих волос, и прошептал по-английски с легким акцентом: «Я бы тебя одной рукой легко пополам переломил». Потом он спокойно пошел дальше, будто корабль, плывущий по тихой воде. Я бежала бегом всю дорогу до остановки трамвая и стояла там, тяжело дыша, пока наконец не подъехал со скрипом трамвай, а потом плюхнулась на сиденье за спиной водителя.

К ужину нас ждали ровно в половине седьмого. Стена за стулом миссис Элдерфилд была увешана небольшими альпийскими пейзажами, писанными маслом, и образы шале, коров с колокольчиками на шее или какой-нибудь Хайди в клетчатом фартуке, собирающей ягоды, до сих пор вызывают у меня в памяти запах рыбы и вареной картошки. За ужином мы почти не разговаривали. А может, так мне только казалось в сравнении с тем, сколько мы разговаривали в спальне девочек.

Отец Мари познакомился с ее матерью в Бангкоке, когда служил в армии, и привез ее с собой в Америку. Там он купил ей «Кадиллак Севиль» и поселил в фермерском доме в Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Когда они развелись, мать Мари вернулась в Таиланд, и пятнадцать лет родители Мари таскали ее из одной страны в другую. Последние несколько лет она жила исключительно с матерью в Бангкоке. Там у нее

был парень, в которого Мари была безумно влюблена, страшно его ревновала и каждую ночь ходила с ним на танцы по ночным клубам, пила и принимала наркотики. Мать Мари уже не знала, что с ней делать, плюс у нее была и собственная личная жизнь, так что она в итоге рассказала о поведении Мари ее отцу, а тот вызвал ее из Таиланда и отправил в Швейцарию. Все знали, что в Швейцарии полно пансионатов для девиц из хороших семей, где этих девиц шлифовали, избавляли от буйства и лепили из них воспитанных молодых леди. Наша Эколь Интернасьональ к таким пансионатам не относилась, но оказалось, что для настоящего пансионата Мари уже слишком взрослая. С их точки зрения, она уже сама из себя вылепила нечто сомнительное, и шлифовать ее было поздно. Так что Мари отправили на лишний год старшей школы в Эколь Интернасьональ — в тринадцатый класс. Отец Мари, кроме общих правил жизни у миссис Элдерфилд, строго-настрого велел установить для нее комендантский час, а когда Мари добралась до вина, которое миссис Элдерфилд использовала для готовки, отцовские инструкции стали еще строже. Поэтому в те выходные, когда я не уезжала в Базель к родителям, мы с Мари часто сидели дома, пока Сорайя гуляла.

Сорайя, в отличие от Мари, не производила впечатление человека с проблемами. Во всяком случае, не с теми проблемами, которые бывают от безрассудства и от стремления нарушать все установленные для тебя ограничения, не думая о последствиях. Сорайя скорее уж излучала уверенность в себе, прекрасную тем, что основана эта уверенность была исключительно на внутренней силе. Внешне Сорайя казалась аккуратной и сдержанной. Роста она была небольшого,

не выше меня, темные прямые волосы подстрижены в «каре Шанель», как она это называла. На веках Сорайя рисовала стрелки, а пушок на верхней губе даже не пыталась скрывать — наверняка она знала, что он только прибавляет ей притягательности. Но разговаривала она всегда тихо, будто делилась с тобой секретами, — может быть, она завела такую привычку в детстве в Иране, во время революции, а может, уже позднее, подростком, когда стала интересоваться гораздо активнее, чем полагалось в ее семье, мальчиками, а потом и мужчинами. По воскресеньям, когда делать нам было особо нечего, мы сидели у старших девочек в спальне, слушали музыку на кассетах и негромкий, хрипловатый от сигарет голос Сорайи, описывавшей мужчин, с которыми она спала, и то, что именно она с ними делала. Все это меня не шокировало — отчасти потому, что я еще не очень понимала, что такое секс, не говоря уж об эротике, и не представляла, чего от него ждать. Но еще дело было в том, как спокойно Сорайя все это рассказывала. Чувствовалась в ней какая-то неприступность, будто ее ничто не могло задеть. И все же, очевидно, ее тянуло все время проверять себя на прочность, испытывать, что будет, если внутренняя сила ей откажет, — так часто бывает, если что-то дано нам от природы, а не появилось благодаря собственным усилиям. В сексе, о котором рассказывала Сорайя, удовольствия не чувствовалось — скорее казалось, что речь о какой-то проверке, которой она себя подвергает. И только когда в ее спокойных рассудочных рассказах вдруг заходила речь о Тегеране, когда она вспоминала свою жизнь в этом городе, очень отчетливо ощущалось, что она испытывает удовольствие.

Ноябрь, и снег уже выпал... да, наверное, уже был ноябрь, когда речь пошла о бизнесмене. Бизнесмен был голландец, старше Сорайи больше чем вдвое, и жил он в Амстердаме, на берегу канала, в доме без занавесок, но раз в пару недель приезжал в Женеву по делам. Кажется, он был банкиром. Про отсутствие занавесок я помню потому, что он рассказывал Сорайе, мол, жену он трахал только при включенном свете и когда был уверен, что людям на той стороне Херенграхта ее видно. Остановливался банкир в «Отель Рояль», и именно в ресторане этой гостиницы, куда дядюшка Сорайи привел ее на чай, она с ним и познакомилась. Он сидел за несколько столов от Сорайи, и пока дядюшка зудел на фарси о том, сколько денег тратят его дети, она следила за тем, как банкир изящно вынимает кости из рыбы, которую ему подали. Аккуратно орудуя столовыми приборами, с абсолютным спокойствием на лице он вынул весь скелет целиком. А потом он стал есть эту рыбу и ни разу не останавливался, как делает большинство людей, чтобы вынуть изо рта мелкую косточку. Он безупречно проделал операцию по извлечению костей, медленно, никак не проявляя голода, а потом съел рыбу, не даваясь и ни разу не поморщившись от неприятного ощущения, какое бывает, когда горло царапает крошечная случайная косточка. Нужно быть особенным человеком, чтобы превратить насильственное по сути действие в элегантное представление. Пока дядюшка Сорайи ходил в туалет, бизнесмен попросил счет, расплатился наличными и встал, застегивая спортивный пиджак. Но вместо того, чтобы направиться прямо к дверям в вестибюль гостиницы, он прошел мимо стола Сорайи и уронил на него банкноту в пятьсот франков.

На банкноте он синими чернилами написал, в каком номере остановился, прямо рядом с лицом Альбрехта фон Галлера, будто это Альбрехт фон Галлер сообщал ей такую ценную информацию. Потом, когда Сорайя стояла на коленях на гостиничной кровати и мерзла, потому что из распахнутой балконной двери дул холодный ветер, банкир сказал ей, что всегда снимает номер с видом на озеро, потому что его возбуждает мощный фонтан, бьющий в воздух на сотни метров. Когда Сорайя все это нам рассказывала, лежа на полу и закинув ноги на односпальную кровать сына миссис Элдерфилд, она расхохоталась и никак не могла остановиться. Но все же, несмотря на этот хохот, они договорились. С того момента, если банкир хотел предупредить Сорайю о том, что приезжает, он звонил в дом миссис Элдерфилд и представлялся как ее дядя. Пятисотфранковую банкноту Сорайя убрала в ящик прикроватного столика.

Сорайя тогда встречалась и с другими мужчинами. Был у нее парень ее возраста, сын дипломата, который приезжал за ней в отцовской спортивной машине, коробку передач которой он испортил, когда они ездили в Монтрё. А еще был алжирец слегка за двадцать, который работал официантом в ресторане возле нашей школы. С сыном дипломата она спала, а вот алжирцу, который был искренне в нее влюблен, только разрешала себя целовать. Он вырос в бедности, как Камю, поэтому Сорайя пыталась увидеть в нем нечто большее. Но ему нечего было рассказать о солнце, под которым он вырос, и она стала терять к нему интерес. Это звучит бессердечно, но мне позже случилось испытывать нечто подобное — внезапно ты

понимаешь, что был близок с человеком, который совсем не таков, каким ты его воображал, который на самом деле совсем тебе незнаком, и тебе становится страшно, а связь между вами начинает распадаться. Так что когда банкир потребовал, чтобы Сорайя бросила как сына дипломата, так и алжирца, ей это далось очень легко — так она получалась не виноватой в том, как больно алжирцу.

Утром, перед тем как мы отправились в школу, звонил телефон. После того как бросит остальных любовников, сказал ей банкир, она должна перестать носить под юбкой трусы. Сорайя рассказала нам об этом, пока мы шли по замерзшему полю к автобусной остановке, и мы засмеялись. Но потом она остановилась, прикрывая зажигалку ладонью от ветра. Я разглядела ее глаза при свете яркого огонька и впервые за нее испугалась. Или испугалась ее, может быть. Испугалась того, чего у нее не было и что было, того, что заставляло ее идти куда-то за пределы, которые очерчивали для себя другие.

Сорайе нужно было в определенное время звонить банкиру с платного телефона в школе, даже если для этого приходилось отпрашиваться с урока. Когда она приходила в «Отель Рояль» на встречу с ним, на ресепшене ее ждал конверт с подробными инструкциями, что именно нужно делать, когда она войдет к нему в номер. Не знаю, что происходило, если она нарушала правила банкира или следовала им недостаточно точно. Мне не приходило в голову, что она могла позволить себя наказывать. Я была еще почти ребенком, и тогда я, кажется, понимала, хоть и упрощенно, что Сорайя вовлечена в игру и в любой момент

может перестать в нее играть. А то, что она-то прекрасно знала, как легко нарушать правила, но именно в этом случае решила им подчиниться... разве я могла тогда что-то об этом понять? Не знаю. И точно так же даже спустя тридцать лет я не знаю, что именно пламя зажигалки тогда высветило в ее глазах — испорченность, безрассудство, страх или его противоположность — несгибаемую природу ее воли.

На Рождество Мари летала в Бостон, я ездила к родным в Базель, а Сорайя домой в Париж. Через две недели, когда мы вернулись, что-то в ней изменилось. Она будто замкнулась в себе, отстранилась и целыми днями слушала в постели свой плеер, читала французские книжки или курила в окно. Когда звонил телефон, она вскакивала с места, чтобы снять трубку, а если спрашивали ее, она закрывала дверь и иногда часами не выходила. Мари все чаще приходила ко мне, потому что, как она сказала, от Сорайи ей не по себе становилось. Мы лежали в моей узкой кровати, и Мари рассказывала мне истории про Бангкок. В них полно было драматических событий, но Мари все равно смеялась над собой и заставляла смеяться меня. Вспоминая прошлое, я понимаю: Мари научила меня чему-то, что осталось со мной навсегда, хотя я не раз это забывала, а потом припоминала снова: умению понимать, насколько абсурдны и в то же время правдивы те эмоции, которые нужны нам, чтобы чувствовать себя живыми.

Дальше, с января по апрель, я в основном помню события собственной жизни. Кейт, американскую девочку, с которой я подружилась — она была старшей из четырех сестер, жила в большом доме в районе

Шампель и показала мне отцовскую коллекцию журналов «Плейбой». Маленькую дочку соседки миссис Элдерфилд, с которой я иногда сидела, и то, как она однажды ночью села в кровати и закричала, потому что увидела на стене самку богомола, подсвеченную фарами проезжавшей мимо машины. Долгие прогулки после школы. Выходные в Базеле, где я играла с сестренкой на кухне, чтобы отвлечь ее от родительских ссор. И Шарифа, улыбочивого мальчишку из моего класса, с которым мы как-то после уроков пошли к озеру и обжимались там на скамейке. Я впервые целовалась с мальчиком, и когда он просунул язык мне в рот, это пробудило во мне и нежность, и агрессию. Я впиалась ногтями ему в спину, он поцеловал меня сильнее, и мы сплелись в объятиях, прямо как парочки, на которые я иногда смотрела издали. Потом я ехала домой в трамвае и чувствовала его запах на своей коже, и мне стало жутко от одной мысли, что завтра я снова увижу его в школе. На следующий день я при встрече посмотрела мимо Шарифа, будто его и не существовало, но взгляд расфокусировала, так что уголком глаза все-таки увидела размытую обиду на его лице.

Еще из этого периода я помню, как однажды пришла домой из школы и застала Сорайю в ванной, она красилась перед зеркалом. Глаза у нее блестели, и она снова выглядела счастливой и веселой, какой я ее уже давно не видела. Она позвала меня зайти и захотела расчесать и заплести мне волосы. Кассетный магнитофон у нее стоял на краю ванны, и, перебирая пальцами мои волосы, она подпевала музыке. А потом, когда она потянулась за шпилькой, я увидела лиловый синяк у нее на шее.